

83.3(2Рос=Рус)6-8

A 68

1363700

Неб Амурской



83.3/2Рос=Рус)6-8

А 68

Александр Блок
Николай Клюев
Велимир Хлебников
Николай Гумилев
Игорь Северянин
Владислав Ходасевич
Осип Мандельштам
Борис Пастернак
Анна Ахматова
Марина Цветаева
Владимир Маяковский
Сергей Есенин

*Серебро и чернь
Медные Труды*

Эдуард Багрицкий
Николай Тихонов
Павел Антокольский
Илья Сельвинский
Александр Прокофьев
Алексей Сурков
Михаил Исаковский
Анна Баркова
Владимир Луговской
Михаил Светлов
Николай Заболоцкий
Леонид Мартынов

Лев Тинникский *Красный бер*



МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2004

1363700

Курская областная
научная библиотека
имени Н.Н. Асеева

УДК 82-95
ББК 83.3(2Рос=Рус)6
А 68

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«КУЛЬТУРА РОССИИ»
(подпрограмма «Поддержка полиграфии и книгоиздания России»)

Гравюры
Ивана КАЛИТЫ

Оформление
Дмитрия ЛЕВИНА

© Аннинский Л., 2004
© Издательство АО «Молодая гвардия»,
художественное оформление, 2004

ISBN 5-235-02586-5

От автора

Это не история поэзии. Это история менталитета, отраженная в стихах и судьбах великих поэтов. По поколениям.

То, что по поколениям, — важно, потому что люди одного поколения застают и видят один и тот же мир, но так разному, что веер вариантов поражает именно при общем основании.

Поколения сменяются каждые 12—15 лет и маркируются выпадающими на их долю (на счастье или на беду) историческими событиями. Пифагорейцы пришли бы в восторг, обнаружив двенадцатилетний ритм знаковых сбоев российской советской истории: 1905... 1917... 1929... 1941... 1953... 1966... Конечно, в реальности все не так «правильно», и все же...

Отойдем для разбега в мечтательный Девятнадцатый. Между убийством царя-Освободителя и кончиной царя-Миротворца появляется на свет поколение, поэты которого маркируют подступающий век «серебряным».

Между Ходынкой и Цусимой — поколение, которое в 1917 году окрестит себя «Октябрьским».

Между поражением Первой русской революции и победой Третьей — дети, к которым и приклеится это слово: «дети Октября». Одно время с легкой руки Анатолия Рыбакова их будут звать — иногда с насмешкой — «детьми Арбата».

От начала советской эпохи до эпохи «великого перелома» рождаются «мальчики Державы», окопники 1941 года, школьники, мечтавшие «дойти до Ганга» и дошедшие до смертной черты в 17—20 лет.

Между 1928 и 1941 годами появляется поколение, спасенное от гибели на войне, — будущие «шестидесятники», которых лучше было бы назвать последними идеалистами. Ибо после них идеалистов не будет.

На рубеже, отделяющем этих счастливцев от последующих скептиков, стоят две «пограничные» фигуры — Иосиф Бродский и Юрий Кузнецов, — сама несовместимость которых знаменательна: после них Красный век распадается на сюрреалистические оттенки.

Дальше — уже другая повесть.

Зачем перечитывать сегодня поэтов под углом зрения, какой не приходил в голову ни их первым читателям, ни ближайшим восприемникам их наследия?

Это простейшая часть вопроса. Прост и ответ. Затем, зачем при жизни их читали, соизмеряя «космизм» с «общественностью», «декаданс» с «реализмом» и внешнюю рельефность стиха с его внутренней безграничностью.

Затем же, зачем впоследствии их читали под углом зрения того, пригодна ли их поэзия «диктатуре пролетариата» как оружие либо как мишень. А потом — выясняя, кто из них и как сопротивляется тоталитаризму либо расплачивается, принимая его в упаковке революции и социализма.

По такой же причине сегодня хочется осмыслить их драму в категориях, продиктованных нашим временем, сопоставить «русское» и «советское», «славянское» и «всемирное», то есть в пределе «национальное и вселенское». Это не значит, что категории нашего времени лучше прежних или способны исчерпать предмет — великих поэтов будут перечитывать всегда.

Серебро и чернь

Александр Блок

Николай Клюев

Велимир Хлебников

Николай Гумилев

Игорь Северянин

Владислав Ходасевич

Осип Мандельштам

Борис Пастернак

Анна Ахматова

Марина Цветаева

Владимир Маяковский

Сергей Есенин

ПОКОЛЕНИЕ, «УМЫТОЕ КРОВЬЮ»

Как вообще отделить гения от талантливого поэта, когда талантов на Руси — «навалом»? И наконец, как выделить «серебряный век» среди эпох, претендующих на тот же титул?

Если «серебряный век» идет после «золотого», то правы те историки поэзии, которые обозначили так время послепушкинское. Первоначально «серебряный век» — время Тютчева, потом время Фета и отчасти Некрасова. Отчасти — потому что в его стихе серебро отделки уже явно отступает перед черной бедой народа и точка отсчета срывается с драгоценнометаллических метафор то в извилистую социальность, то в прямой стон.

С этой социальностью в крови и с этим стоном в горле история проволакивает поэзию еще полстолетия, и тогда сдвигается проба «серебряного века» на время «неслыханных мятежей», приставая сначала к тем поэтам, которые мятежей сторонятся, а потом — к лирике той поры вообще, ибо мятежи втягивают всех.

Хотя «серебро» — лишь одна и, так сказать, наносная краска на лице этого времени. Само оно себя метит иначе: в противовес белому — красным. Но если идти под слои краски вглубь, так надо было бы его назвать черным: и по доминанте самого активного слоя в мятежах, и по беспределу казней. Над коими и повисает вымечтанное поэтами серебро.

Поразительна плотность великих имен. Когда-то так же поражала плотность посева и жатвы в поле великой русской прозы. Кажется, Василий Розанов первым заметил, что все классики — от Тургенева до Чехова — могли бы по возрасту, образно говоря, родиться от одной матери. Если же взять поэтическую поросль начала прошлого века и нашупать «поколение» (а реальность подсказывает именно это, что и методологически правильно, потому что люди разных темпераментов, традиций и позиций застают мир одновременно и видят «одно и то же», но по-разному; эта разность рельефна именно «при прочих равных»), — то получится, что великие поэты начала XX века в еще большей степени, чем прозаики середины XIX века, могли бы оказаться «детями одной матери»: они рождены в «вилке» между 1880 и 1895 годами; старший из них — Блок — буквально подает руку младшему — Есенину.

Первоначальная табель о рангах (кто «лучший и талантливейший», а кто «на свалке истории») теперь не имеет значения. Великие поэты равны как свидетели драмы: все взысканы судьбой. Если же такое равенство перед истиной покажется

кому-то вызывающим, то напомню, что «лучший и талантливейший», увековеченный в монументах «главарь» эпохи — Маяковский — и «худший», осмеянный в фельетонах изгой — Северянин — тоже подают друг другу руки с полным взаимным уважением и солидарностью.

Все сцеплены общей судьбой, общей бедой: Ахматова и Цветаева, Клюев и Ходасевич, Мандельштам и Пастернак, Хлебников и Гумилев, — хотя иногда кажется, что обретаются они в разных измерениях. Но у гениальности одно измерение — таинство правды.

Страна, их породившая, оставившая им в наследие великую культуру, давшая им ощущение мировой миссии и великой задачи, на их глазах испепеляется в ничто. На ее месте возникает черная воронка, бездна, небыть, и оттуда встает нечто «обернутое», «зазеркальное», в чем их страну им узнать невозможно.

Но и не узнать — невозможно. Исчезновение, перерождение и возрождение духовной родины есть драма, о которой они свидетельствуют. Этот сюжет страшен. Но только такие драмы способны вызвать к жизни великую поэзию.

Александр Блок: «Россия — сфинкс...»

Родился при царе-Освободителе — в момент, когда чрезвычайные меры против террора народовольцев были отменены либо смягчены, августейшая семья благополучно съездила на юг и государю пришел срок увенчать Великие реформы неким общим законом, за которым нетерпеливое общество уже закрепило магическое имя Конституции.

Впоследствии заметил, что поскольку адекватным состоянием для поэта является «всемирный запой», то «мало ему конституций».

Припомните также «двоеверную» тональность, в которой новости из Дворца передавались в ту пору на Университетскую набережную: Дворец запущен, повара халтурят, один из великих князей в знак протesta накупил у Филиппова гору калачей и булок, что есть несомненное потрясение основ.

Когда младенцу исполнилось четырнадцать недель от рода, царя-Освободителя взорвали бомбой. Событие произошло за две тысячи шагов от университета — у Екатеринина канала. В «ректорском доме» (Блок приходился ректору внуком) оно было воспринято так: царь тот — циник. Худой, огромный старик, под глазами мешки, глаза страшные, губы тонкие, «точно хотят плюнуть».

Не стало ни того старика, ни — в сущности — того времени, которое его породило. Девятнадцатый век «мягко стал, да жестко спать». Забрезжил двадцатый: «еще чернее и огромней тень Люцифера крыла». Или — чуть более конкретно: вместо «диктатуры сердца», которую предлагал стране ласковый Лорис-Меликов, отныне «Победоносцев над Россией простирали совиные крыла». Или — там же, в «Возмездии», двумя строчками выше — чуть более абстракт-

но, зато исчерпывающе по составу чувств и красок: «в те годы дальние, глухие в сердцах царили сон и мгла».

Сон и мгла — ключевые образы, прямо вводящие в систему мотивов, которые звучат в сердце всеобщего любимца и баловня семьи, потом ленивого гимназиста, потом медливого, отрешенного от суety и злобы дня студента, пока в нем вызревает великий поэт.

Печататься он начинает сравнительно поздно. Адресуется к «небольшому кружку людей, умеющих читать между строк». Критика его первые публикации встречает довольно холодно. Настоящего представления о мощи и интенсивности его работы они не дают: в первой книге — десятая часть написанного. И однако этой одной десятой, этой надводной части айсберга достаточно, чтобы почувствовался приход национального гения.

«Царственное первенство» Блока на поэтическом олимпе начала XX века не оспаривается никем даже из его противников. Гордая Цветаева, замирая, передает ему свои стихи на поэтическом вечере. Отчаянный Есенин, впервые приехав в Питер, идет к нему, обливаясь потом от страха. Неприступная Ахматова посыпает ему журнал со своей публикацией. Яростный Клюев адресует письмо с требованием оправдаться за всю господскую культуру: «О, как неистово страдание от «вашего» присутствия, какое бесконечно-окаянное горе сознавать, что без «вас» пока не обойдешься!» Самоуверенный Северянин дарит ему брошюру, надписывая: «Поэт!.. Незабвенна Ваша фраза о гении, понимающем слова ветра. Пришлите мне Ваши книги: я *должен* познать их». Вознесенный революцией Маяковский ему одному подает руку: «Здравствуйте, Александр Блок!»

Воинственный Гумилев бодрится: «Ну что ж, если над нами висит катастрофа, надо принять ее смело и просто. У меня лично гнетущего чувства нет, я рад принять все, что мне будет послано роком» (о, знал бы!). Гумилев говорит это о Блоке, отталкиваясь от Блока, реагируя на Блока: кроме знаменательной ревности вождя акмеистов к вождю символистов, тут поразительно точно определен нерв, который задает Блоком.

Проницательный Ходасевич через десять лет после смерти Блока скажет об этом так: «Поэзия Блока в основах своих была большинству непонятна или чужда. Но в ней очень рано и очень верно расслышали, угадали, почуяли «роковую о гибели весть». Блока полюбили, не понимая, по существу, в чем его трагедия, но чувствуя несомненную ее подлинность».

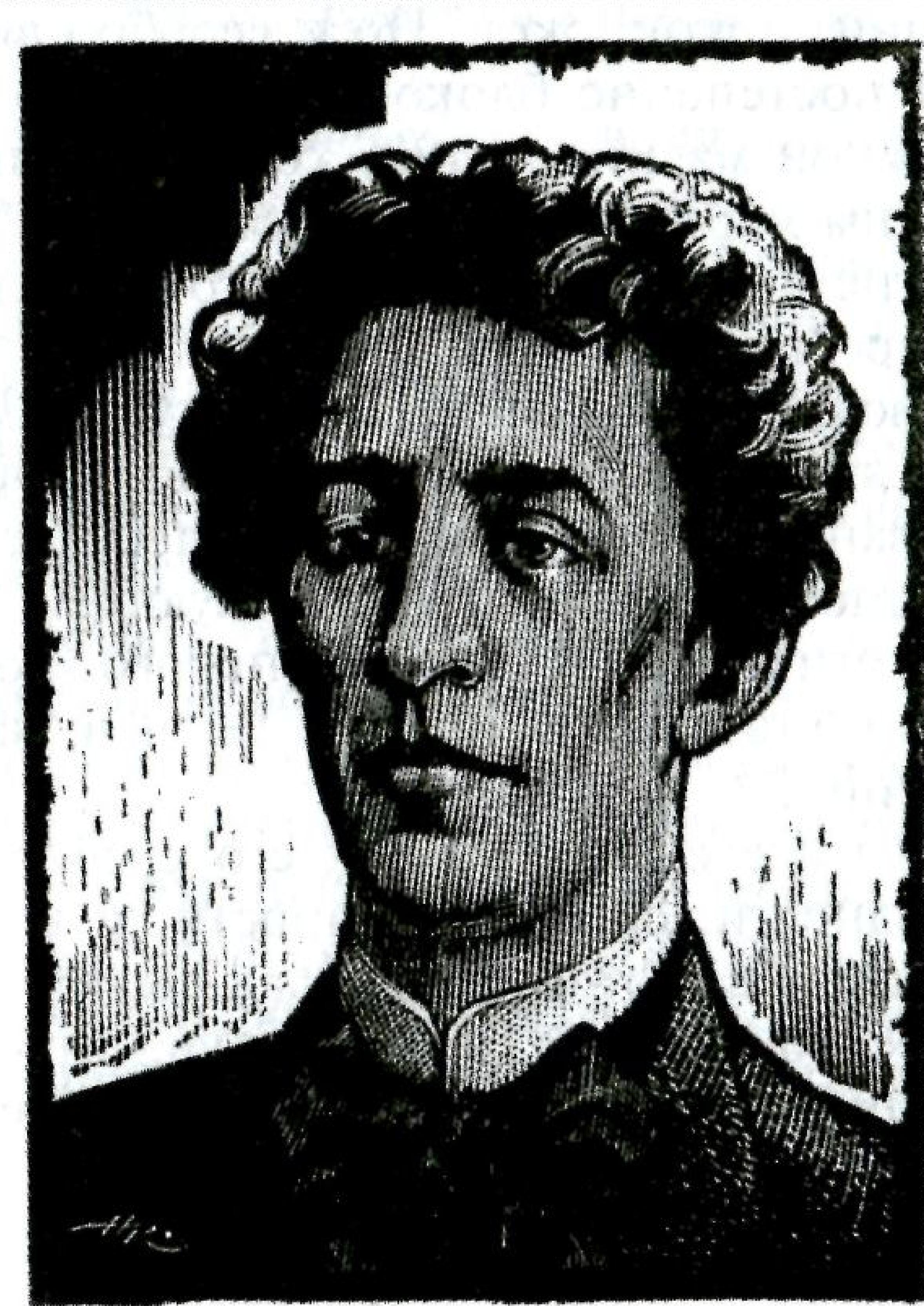
Тут — всё. Меч Немезиды. Дыхание катастрофы. Гибель иллюзий. И притом — полная невозможность понять: откуда? за что? как?

Мгла. Тишина. «Обманы и туманы». Сны. Лесные тропинки, глухие овраги. Бесцельные пути. Сумерки. Сумрак. С первых строк поэзия Блока не просто повествует о предчувствиях, опираясь на такие сигнальные слова, как «тревога», «пустыня», «ночь», «могила» и «тайна» (этот-то пласт — не блоковский, он взят от Жуковского и других классических предшественников), — нет, здесь наново создается абсолютно достоверный психологический мир, который делает предчувствия реальными, хотя сплетается, как и должно быть у гения, как бы вслепую. Беспредметность, «неощущимость» соединены с потрясающей невменяемой точностью взгляда, слуха и осознания. Цвета и звуки, холод и тепло (огонь) соединяются в целое, вроде бы не из чего не следующее: ощущения предельно достоверны, а целое невыносимо ирреально.

Все призрачно. Но непреложно. Блоковский дух неуследим, как неуследимы ветер или метель, или выюга. Но «датчики» бури точны, как на метеостанции. Кажется, что этот мир качается, плывет и утекает, что в нем реют сплошные символы, что цветовая гамма скользит и пестрит, но, вчитываясь, обнаруживаешь, что зрение остро и точно.

Два первоначальных цвета — две азбучные истины: красный и синий. И — до конца, до финальных аллегорий: красное — коммунизм, синее — большевизм; или: «красный комод», который «всех ужасней в комнате»; «синий плащ», в который — «завернулась». Через всю поэзию Блока эти два ощущения — огневое и леденящее — встык. «То красные, то синие огни». «Синее море... красные зори». «Синие воды... красные розы». «Синяя дымка под красной зарей». «Пунцовье губки, синеватые дуги бровей». «День белый с ночью голубою зарею алою сочетал...» Так, сокровенный ее смысл в том, что «сочетается» несходимое. Красное пресекается синим, синее — красным. Синева — жгучая, красность — пепельна. Лейтмотивы: синяя муть, алая мгла. Красная пыль. Серый пурпур. И в трагическом завещании «Пушкинскому дому»: «сине-розовый туман». И в известной автопародии: «синих елок крестики сделались кровавыми, крестики зеленые розовыми стали...»

Цвета дробятся. Мерцание, рассыпание, бликование. «Цветистый прах». Словно бы серебрится все. Серебра еще нет, однако *ожидание* этого разрешающего колористического удара разлито в дробящемся воздухе, в тревожном сцеп-



лении противоположного: красного и синего, ясного и мглистого, белого и черного.

Серебро, пару раз мелькнувшее в ранних стихах традиционной краской романтического пейзажа, ко времени «Распутья» (1903) прочно одевает поэзию Блока в ледяной плен. Это серебро — темное, холодное. Серебро выюги, серебро метели. Серебро трубы, зовущей в гибель, смертного наряда, пустыни, покоя, оков. Но и серебро видений, грез, «чертогов». И постепенно блоковское серебро — мечтаемое серебро «Снежной маски», с 1907 года окрасившее его лирику колдовским мерцанием, — вытесняет в сознании читателей все другие цвета (кроме разве что черного). Оно, это мерцающее серебро, становится чем-то вроде пароля, пропуска в «символизм» с его «духами и туманами». Блоковское обаяние является, наверное, главной причиной того, что само название «серебряный век» постепенно переносится на его эпоху с эпохи предшествующей, для которой то имя было логичнее: после пушкинского «золотого века» настало время Фета; на грани его — Тютчев, на другой грани — Анненский...

После Блока все сдвигается — к его среброснежности, к его среброзвездности, сребросказочности, и в этих отсветах блекнет определение, которое поэт дал своему веку: «железный». Не серебро завещал он, а чугун, отложившийся в жилах. Не «серебристый» у него колорит — «серебряно-черный».

Кто там встанет с мертвым глазом
И серебряным мечом?
Невидимкам черномазым
Кто там будет трубачом?

«Черномазым»... Крайне не характерное для Блока определение. Массу человеческую Блок чаще называет: «толпа». Или — в старинном стиле, во множественном числе — «толпы». И еще с ударением на конце: «увел толпы в пылающий рассвет». Иногда он говорит: «народы». «Кругом о злате иль о хлебе народы шумные кричат». А то и «стада». Их что-то «гонят», а он — в стороне. Они его «зовут», а он — хладен и безучастен, нем и недвижим.

В этой ситуации вроде бы просится слово «чернь». Его нет.

Вернее, оно есть, но в каком-то нездешнем регистре:

Венгерский танец в небесной черни
Звенит и плачет, дразня меня.

Или:

И голос черни многострунный
Еще не властен на Неве.

Или:

И над заливами голос черни
Пропал, развеялся в невском сне.

Эта мелодия не сливается ни с воплями «толп», ни с блеянием «стад». Эта музыка звучит откуда-то из-под купола, из иной реальности. При чем тут «чернь»? В реальности «чернь» если и возникает, то, как в поэме «Возмездие», чернь светская, «сытая», толпящаяся, как в пушкинские времена, у трона, — во времена блоковские она еще и «говорит речи». От этой «черни» Блок отделяет себя презрением, как от «толп» и «стад». Простой народ вызывает у него совсем другие чувства. Это не «чернь». «Не называются чернью люди, похожие на землю, которую они пашут, на клочок тумана, из которого они вышли, на зверя, на которого они охотятся...» Это разъяснено в 1921 году, за полгода до смерти и через две эпохи после небесной, многострунной черни «nevских снов». И еще ясней: «Вряд ли когда-нибудь чернью называлось простонародье. Только те, кто сам был достоин этой клички, применяли ее к простому народу».

Чернота народа — не «чернь». Здесь черные краски появляются разве что в контраст желтым: чернота рабочих предметов есть знак «честности» в противовес «обману» буржуазного города. Это знак природности: земли, тумана, зверя. Знак безобманности.

Чернота у Блока — и «чернь» его палитры — шире и мощнее той или иной социальной краски, она бьет через словесные границы, наискосок общепринятым створам. Она заполняет вселенную странной музыкой, гася цвета. Здесь взаимоуничтожаются синие и красные сполохи. Черна ночь, черно болото, черна дорога. Черны звезды, деревья, провода, решетки, двери. Черен бред, черна кровь, черна даль, черен свет. Небо Италии — черно! Затянута красавица в черный шелк, в черный бархат, сверкают черные бриллианты, рассыпаны черные волосы, чернеют очи, брови. Черен сон, черен смрад, черен дым. Черен монах, звонарь, латник. Черен город, черен поезд, черны моторы машин, стены фабрик, домов. «Недвижный кто-то, черный кто-то людей считает в тишине». Черна портьера. Черна роза в бокале. Черен платок на груди. Черен ведовской предел. Черен мир. Гаснет в нем серебро.

Из безначально-бесконечной тьмы выскакивает у Блока леденящий душу «черный человек» и бежит по городу, гася «фонарики».

Через весь «серебряный век» бежит это видение и в конце концов сводит с ума того «рязанского парня», который в марте 1916 года явился к Блоку, подал записку: «Я поэт, приехал из деревни, прошу меня принять», — и читал стихи — «свежие, чистые, голосистые и многословные». Неполных десяти лет хватило тому нежноволосому отроку, чтобы к нему в постель, взломав серебро, выпрыгнул из зеркала *черный человек*. И обозначил «конец процесса».

У Блока обозначено начало.

Вернее, безначальность. Непонятны, неощутимы границы тьмы, истоки, причины мрака. Мир неочерчен. Вернее, так: то, что очерчено, не удерживает Смысла, а то, что есть Смысл, — неудержимо, неуследимо и невыразимо. И зловеще неохватно. И мучительно непредсказуемо. Это всеобщность, несущая Пустоту и совпадающая с ней.

Когда после публикации «Двенадцати» антибольшевистская интеллигенция объявила Блоку бойкот и главная жрица Зинаида Гиппиус заявила, что не подаст ему руки (случайно встретив в трамвае, все-таки подала, проговорив в растерянности: «Только лично, не общественно!» — причем вежливый Блок был за это признателен), она очень точно определила суть их расхождения. Там, где полагается быть политической доктрине, системе ясных убеждений и вообще идеологическому фундаменту, там у Блока... зияние. Пустота. Безмолвие. Вакуум. *Около* которого он всю жизнь и ходит. В основе — невыразимое. «Несказанное». Блок прямо подтверждает это в письме, зафиксировавшем разрыв: «“Роковая пустота” есть и во мне, и в Вас».

Неизречимость — в сокровенной глубине его лирики. С первых до последних мгновений. Всю жизнь — «с неразгаданным именем бога на холодных и сжатых губах». Во вселенной без имени и без очертаний.

«Вселенная» — единственное изначальное имя и единственная попытка очертить «это». Других границ нет. Или они мнимы. В прощальном письме Зинаиде Гиппиус: «Неужели Вы не знаете, что «России не будет», так же как не стало Рима?.. Так же не будет Англии, Германии, Франции...» Положим, для 1918 года мир «без Российской, без Латвий» — общее место публицистики, но ведь уже в 1900 году сказано: «Вселенная, моя отчизна». Погибнет? Пусть. Пусть «отлетает в пустоту»:

Мне все равно — вселенная во мне.

И ни следов, ни контуров. Нечто. Ничто. Ничто как Нечто.

Десять лет спустя поразительные по пластике «Итальянские стихи» возвращают нас в ту же исчезающую точку:

Ты, как младенец, спиши, Равенна,
У сонной вечности в руках.

Две-три ссылки на «Данта с профилем орлиным» или на любимого «Гамлета» вовсе не означают ни Италии, ни Дании. Никакого Запада у Вечности нет.

А Восток есть? На фоне «Скифов» как последней декорации Мирового Балаганчика это особенно интересно. Востока нет, а есть... «Заря Востока», магическим образом угаданная за два десятка лет до того, как грузинские большевики учредили газету с таким названием. Еще есть — Восток «помыслов творца», коему навстречу «летит дух» поэта, явно подвигнутый на этот полет Владимиром Соловьевым. Есть «лазурность Востока», сокрытая «в неясной тени». Иначе говоря, есть Восток Ксеркса, Восток Христа, но не часть мира, не грань мира, не имя мира.

Мир Блока в сущности не имеет окончательного имени. Непонятно, как его называть. Точнее всего так: «Ты». Нечто, достойное служения, верности, любви. Имена, мелькающие *около* священного места, условны. «Дева». «Сестра». «Жена». «Дама». Иногда: «Снежная Дева». «Белая Дева». «Древняя Дева». Иногда «Незнакомка». Или так: Кармен. Фаина. И даже: Коломбина.

Обращающийся к Даме лирический герой соответственно и Арлекин, и Пьеро, и Принц, и Шут. Но более всего — Рыцарь. Из всех скользящих имен, которыми он награждает свое божество, самое известное: «Прекрасная Дама». Средневековый флер, окутывающий это имя, не должен обманывать: в Прекрасной Даме нет ничего ни специфически средневекового, ни специфически западноевропейского; время от времени в ее силуэте мелькает что-то от цыганки... от вакханки... от боярышни... даже от проститутки.

Ничего обидного. Потому что все это — маски.

Каждый раз, когда очередная маска падает, возникает новая маска. И тоже падает. Герой шепчет:

И, миру дольнему подвластна,
Меж всех — не знаешь ты одна,
Каким раденьям ты причастна,
Какою верой крещена.

Как?! А «церковь в лесистой глухи»? А «песня жницы» с поля «сжатой ржи», из-за «некошеной межи»? И «клевер пышный, и невинный василек»? И «глущь родного леса», и «родной камыш», и «родимые селенья»? С полу взгляда узнаваемые приметы, включающие цепь традиционно русских ассоциаций: тропинки... былинки... березки по скатам оврага... и даже так: «кочерыжки капусты, березки и вербы», открывающие то неподдельное состояние, в которое уже не первый век погружается классический герой русской литературы, «влачась по пажитям и долам» и вкушая «душный зной, дневную лень, отблеск дальних деревень»...

Тут внимательный читатель не удержится, переадресует Блоку ироническое рассуждение, которое он сам адресовал когда-то Фету: «Россию мы видим из окна вагона железной дороги, из-за забора помещичьего сада да с пахучих клеверных полей, которые еще Фет любил обходить в прохладные вечера, при этом “минуя деревни”». Поскольку это сказано и о самом себе, не будем спешить с упреками: драма, тут заложенная, ироническими самохарактеристиками не исчerpывается. Россия тыгчется в лицо всеми «былинками», качается перед глазами «серыми сучьями», и все-таки ее «нет». Нет того, что ожидается, обступает и требует воплощения. Развоплощено!

Развоплощенность эта со времен Константина Леонтьева привычна и не вызывает удивления. Удивление вызывает другое: как свою «несказанную» тайну, свою Мечту, свою Прекрасную Даму, свою... Кармен-Коломбину-Фаину Блок впервые решается отожествить со страной?

Зинаида Гиппиус, жрица «общественности», листая «Розу и Крест», допрашивает:

— Александр Александрович, ведь это не Фаина. Ведь это опять Она.

— Да.

— И ведь Она, Прекрасная Дама, ведь она — Россия!

— Да. Россия... Может быть, Россия, — смущается Блок, продолжая ходить *около*, не желая ходить *прямо*.

«Роза и Крест» — это 1913 год. Последнее историческое мгновенье перед началом обвала. Само имя появляется в стихах Блока с 1905 года. С момента, когда цусимское эхо, отзавшееся залпами Кровавого воскресения и ревом Революции, возвещает переход «железного века» в какой-то новый век, еще неведомый. Пахнет гибелью. Возникает «Россия».

Почему только теперь?

Может, оттого и не возникала она в сознании Блока раньше — хотя место ее в центре Вселенной было окружено

«приметами» и овеяно трепетом, — что останавливали предчувствия? «Неслыханные перемены, невиданные мятежи»? Страшно было назвать «это» по имени: стронуть лавину. Назвал — когда лавина пошла.

Блок не только определил возникновение русской темы у поэтов «серебряного века», но угадал и ситуацию ее возникновения. У Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама, Ходасевича очерчивается Россия в сознании именно тогда, когда — потеряна. Точки воплощения — моменты катастроф: 1905-й, 1914-й, 1917-й... И наконец, 1941-й. Имя открывается одновременно с утратой. Уста отверзаются в немоту.

«Немая отчизна» — так она впервые названа у Блока. Потом: «Очнусь ли я в другой отчизне?» И тут же, с глухим предчувствием: «чтобы распутица ночная от родины не увела». И опять, с тоской: «Ты отошла, и я в пустыне». И наконец, самый пронзительный и страшный мотив русской мелодии у Блока — мотив смены облика:

Нам казалось: мы кратко блуждали.
Нет, мы прожили долгие жизни.
Возвратились — и нас не узнали,
Нас не встретили в милой отчизне.

Блок и здесь — предтеча и провидец: через всю поэзию «серебряного века» проходит мотив неузнанности, неузнаваемости, мотив утраты Лица. Начинается — у Блока. Чертвы затуманены. Та — и не та. «Дует ветер... ничего не различишь сквозь слезы... Застилает глаза».

С точки зрения тогдашней «общественности» Георгий Адамович диагностирует синдром пустоты; он говорит: слово «Россия», вошедшее в стихи Блока после 1905 года, существует в том «гоголевском его звучании, которое препятствует определить, о чем, собственно, речь: географический ли это термин, имя ли народа, сумма культурных традиций и устремлений? Россия — «родина». И Гоголь, и Блок предпочитали называть ее Русью как более ласкательным и интимным именем».

Все правильно. Адамович вряд ли убедительно объяснил, что, собственно, и для него было «Россией» в 1905 году, когда происходили роковые события, или в 1938-м, когда он в Париже их описывал, или в 1967-м, когда в Нью-Йорке, двигаясь в стихах вслед Блоку, он мучительно шел от «Одиночества и свободы» к «Единству».

Трагедия общая: на месте «России» разверзся вакуум, и предстоит распознать то, что становится «Россией» под новыми масками и именами. Эта непосильная задача встает

перед поэтами «серебряного века». Как всякая непосильная задача, она требует запредельного напряжения и делает поэзию великой.

«Русь» — действительно первое, на что эта поэзия пытается реально опереться. У Блока так: сначала возникает ленивая «русская таможенная стража». Затем внутри очерченной таким образом границы обнаруживается веселое племя: рабочие возят с барок дрова; дети дрова воруют; матери «с отвислыми грудями под грязным платьем» отвешивают детям затрешины и принимают ворованное. В воздухе ругань. «И светлые глаза привольной Руси» сияют строго с «почерневших лиц».

Это диковатое племя, в котором явно скрестились земля, туман и звери, описано с той долей «ласкательности и интимности», с которой Миклухо-Маклай увековечивал папуасов. Но именно такова блоковская Русь в первом приближении. Русь пьяная, нищая, плачущая в кабаке. Понятна такая Русь разве что на этнографическую глубину — дальше она непонятна. «За дремотой — тайна». Тайна притягивает смутно чаемой «первоначальной чистотой», которая прячется за этой дремотой, за нищетой и дикостью. «И в лоскутах ее лохмотий души скрываю наготу». Нагота безрадостна, чистота несчастлива. Печален простор, сумрачен свет, зловеща правда, приоткрывающаяся в таинственной дали. «Пред лицом родины суровой я закачаюсь на кресте...»

Всякое прикосновение к сфинксу, называемому Россией, — это попытка примериться к самым гибельным ее чертам. К ее «разбойной красе», к ее «острожнои тоске», к ее туманной, обманной, узорной, запутанной судьбе. Но без ужаса нет для Блока любви, без русской безнадеги нет для него русской реальности. Это врезано на века и, как все гениальное, просто:

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые —
Как слезы первые любви!

Чем страшней, тем родней. Россия не поддается ни свету, ни праведности — только темному греху. «Грешить бесстыдно, непробудно, счет потерять ночам и дням и с головой, от хмеля трудной, иди сторонкой в божий храм...» Поразительна точность «примет» этой неуловимой души, этого размазанного быта. Вся русская классика от Гоголя до Лескова поработала над тем, чтобы Блок мог точными штрихами набросать портрет купца-праведника, который отмали-

вает грехи на заплеванном полу церкви, а потом, икая за чаем и слюнявя купоны, вспоминает, кого и как он надул.

И на перины пуховые
В тяжелом завалиться сне...
Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне.

Другой он ее не ведает. Не хочет знать. Не верит, что она способна быть другой. Воистину, безнадежная любовь — самая лютая. Объект любви должен быть затуманен: ясность добьет его. Притом некоторые прозрения Блока — в части исторических перспектив — рельефны до ясновидения. Например, вот это:

Над старым мраком мировым
Восходит солнце твердой власти...

Напечатанное в 1919 году, это стихотворение кажется гимном диктатуре, подслушанным у врат ГУЛАГа под слепящими красными звездами. Но это написано в 1899 году, и, скорее всего, под «сверкающим троном», к подножью которого вот-вот «потекут» народы. Что не мешает Блоку, слегка поправив стихотворение (но абсолютно не приспособливая его к новым реалиям!), пустить его в печать двадцать лет спустя.

Туманность контуров, глубоко запрятанная «немота» и столь раздражавшее Зинаиду Гиппиус хождение *около* загадки — вот что делает Блока по-своему неуязвимым. Он служит России, не расшифровывая ее.

Фантастические (с точки зрения людей последовательных) поступки Блока могут быть поняты только в этом вакуумном контексте. Например, шествие с красным флагом во главе революционной колонны в октябре 1905 года. Или — в сентябре 1914-го — возглас: «Война — это прежде всего *весело!*» По логике вещей человек, протестующий против мерзостей царизма, не должен веселиться, когда царизм начинает войну, мерзость которой очевидна; человек, решивший служить Прекрасной Даме, не должен ходить с флагами на политические демонстрации...

Но поэт, ежесекундно пророчащий гибель и возмездие, делает именно это: он торопит события, поворачивается навстречу гибели, гасит ужас весельем. В этой маяте — все едино:

Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?
Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма!
Эх, не пора ль разлучиться, раскаяться...
Вольному сердцу на что твоя тьма?

Сердце не вольное — сердце плененное, зачарованное.
Света не будет — будет тьма вечной неразгаданности:

Знала ли что? Или в Бога ты верила?
Что там услышишь из песен твоих?
Чудь научила да Меря намерила...

Блестящий каламбур этой строчки сделал ее почти пословицей, и она как бы выпала из общего орнамента, но по существу ни один элемент нельзя вычленить из черно-белого вихря, в котором сливается все: серебро и чернь, царь и Ермак, Европа и Азия — несходимые края и «разноплеменные народы», все, что охвачено таинственным словом «Русь».

За море Черное, за море Белое
В черные ночи и в белые дни
Дико глядится лицо онемелое,
Очи татарские мечут огни...

«Очи татарские» — это Русь? Или это то, во что глядится Русь? Загадочна стилистика и загадочна символика «Поля Куликова» — самого сильного блоковского произведения на русскую тему. Традиционно русская ценность — «древняя воля» — переброшена татарам. Традиционно татарская привязка — «степь» — переброшена Руси. Татарская вольница — против русской степной прочности-крепости: полный оборот смыслов! Вражий шум — скрип телег и людской вопль на татарской стороне (как это описано Блоком в статье «Народ и интеллигенция» параллельно стихотворному циклу) — в стихах отфильтрован: в «шуме» оставлены две романтические ноты — «орлий клекот» и «плеск лебедей». Они и осеняют татарский «черный» стан в противовес русскому, где с «серебра» смыта «пыль».

То есть все эмоциональные акценты как бы обернуты. Если учесть, что Русь никогда и не окрашивалась у Блока в этнические тона, а если окрашивалась, то отнюдь не только в славянские, но и в финские, да и в татарские тоже, — можно понять то внутреннее смятение, то ощущение распутья и даже потери пути, которое вопиет из куликовского цикла:

И я с вековою тоскою,
Как волк под ущербной луной,
Не знаю, что делать с собою,
Куда мне лететь за тобой!

Статья «Народ и интеллигенция» открывает нам исток этой безысходности. «Поле Куликово» — метафора, пара-

фраз совсем другого противостояния. Блока мучает противостояние народа и интеллигенции. «Русь» — это народ: полутораста миллионов жителей Российской империи, погруженных «в сон и тишину». А «поганая орда» — это русская интеллигенция: полутораста тысяч крикунов, ополчившихся против своего народа.

В ситуации 1909 года это психологически понятно и даже предсказуемо: как раз в эту пору выходит сборник «Вехи», где интеллигентская элита пытается отречься от интеллигентского наследия. Но Блок, кажется, и без всяких «Вех» приходит к этому убеждению; достаточно Клюеву обвинить его в «интеллигентской порнографии» (и за что! За «Вольные мысли!»), и Блок ему верит («другому бы не поверил»), мучается, что он — «интеллигент», и ждет страшной развязки, а то и накликает:

«Почему дырявят древний собор? — Потому что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой. Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? — Потому что там насиловали и пороли девок: не у того барина, так у соседа. Почему валят столетние парки? — Потому что сто лет под их развесистыми липами и кленами господа показывали свою власть: тыкали в нос нищему — мошной, а дурaku — образованностью.

Все — так.

Я знаю, что говорю. Конем этого не объедешь».

Тут — разгадка «балаганчика», подлинная суть блоковской драмы: возмездие. И не только блоковской. Блок ее только завещает.

Возмездие — тема, кровавой нитью проходящая сквозь поэзию «серебряного века». Одни поэты видят себя орудием возмездия. Маяковский. Хлебников. Клюев. Другие — объектом его. Ахматова. Мандельштам. Ходасевич. Иные же в ужасе обнаруживают, что по иронии истории попали из правых в виноватые, причем без вины. Гумилев. Пастернак. Цветаева. Но невыносимое ощущение *вины*, когда жертвой должен стать *ты сам*, и это *справедливо*, — только у Блока. Может быть, еще потом — у Есенина, но без такой ясности: «конем не объедешь».

Главное произведение Блока, над которым он мучительно и безнадежно работает всю жизнь, — поэма «Возмездие». Роман в стихах — по светлым, классическим, пушкинским заветам. Попытка собрать жизнь вокруг истории семейства. Собрать «энциклопедию русской жизни». Собрать вселенную. Один эпизод лета 1916 года проясняет значение, которое Блок придает этой попытке. Литературное собрание. Кто-то

показывает репродукцию картины из римской истории; кто-то музицирует; хозяин предлагает присутствующим записать впечатления в альбом. Блок приезжает с опозданием. Ему тоже подают альбом. На одной из страниц он читает:

«Сергей Есенин:
Слушай, поганое сердце,
Сердце собачье мое.
Я на тебя, как на вора,
Спрятал в руках лезвие.

Рано ли, поздно всажу я
В ребра холодную сталь.
Нет, не могу я стремиться
В вечную стгнившую даль.

Пусть поглупее болтают,
Что их загрызла мечта.
Если есть что на свете —
Это одна пустота.

Прим. Влияние «Сомнения» Глинки
и рисунка «Нерон, поджигающий Рим». С.Е.».

Потемнев, Блок подзывает «рязанского парня»:

- Сергей Александрович, вы серьезно это написали или под... впечатлением?
- Серьезно, — чуть слышно отзыается Есенин.
- Тогда я вам отвечу, — еще тише, вежливо, вкрадчиво говорит Блок.

И, перевернув страницу, пишет:

«Жизнь — без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай.
Над нами — сумрак неминучий,
Иль ясность божьего лица.
Но ты, художник, твердо веруй
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрастной мерой
Измерить все, что видишь ты.
Твой взгляд — да будет тверд и ясен.
Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен.

Александр Блок. 13.VII.1916 г.»

Начало поэмы «Возмездие».

Конца нет. Не написано. Так и не закончена поэма. Блок не может стянуть концы.

Разлетевшиеся осколки он собирает в поэму «Двенадцать». В отличие от «Возмездия», она написана «за один при-

сест». Идет подстраивание к хаосу. Вплоть до имитации кощунства. Вплоть до звукоподражания невменяемой реальности: «Ай, ай! Тяни, подымай!», «Эх, эх, погреши! Будет легче для души!» И уже почти под Маяковского: «Трах-так-так!»

Составленная из «кусочков», поэма так и воспринята революционными массами, да и контрреволюционными элементами тоже. Массы поднимают ее на щит, растаскивают на лозунги, развешивают в виде плакатов: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!», «Революционный держите шаг, неугомонный не дремлет враг!». Неугомонный издается: Катюша — закономерная реинкарнация Прекрасной Дамы? А Иисус Христос, идущий во главе ватаги красногвардейцев, — это, конечно, замаскированный Абрам Эфрос, а еще лучше: Луначарский-наркомпрос.

Блок на критику не отвечает, но вдогон, встык, как бы в объяснение «Двенадцати», пишет «Скифов».

Это — последняя душераздирающая попытка решить проблему, то есть выдавить из себя «интеллигента». Азиатская рожа должна привести в шок культурную Европу. Пусть мир шарахнется от звериного оскала. За оскалом — гримаса боли, отчаяние безнадежной любви, неоцененная святость. «Мы любим все... нам внятно все... мы помним все...» — а нас не любят, не понимают, не принимают. Тогда пусть «хрустнет» их «скелет в тяжелых, нежных наших лапах!» И все, что «их»: парижские улицы, кельнские громады и даже незабвенные венецианские каналы, — все то, что проступало из дымной бездны вселенной, пусть валится обратно в бездну!

Отвергнутая любовь обличается ненавистью.

Чернеет серебро. Вселенная погружается в небытие.

Это — развязка трагедии? Если не развязка, то — окончательное удушье, затянутый узел.

И надо всем — по-прежнему:

Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя,
И обливаясь черной кровью,
Она глядит, глядит, глядит в тебя
И с ненавистью, и с любовью!..

После этого — только замолкнуть.

Как отвечно все той же Зинаиде Гиппиус в том последнем разговоре на реплику «Тут — или умирать, или уезжать» — после долгого молчания:

— Умереть во всяком положении можно.

За полгода до смерти, уже из «ночной тьмы» — тихий поклон Пушкину. Это последнее, что написано в стихах.

После смерти, оборачивая на Блока фразу, сказанную им о Пушкине, что тот погиб не от пули Дантеса, а от «отсутствия воздуха», говорят: Блок задохнулся от Советской власти. Из его текстов это не следует. Из его текстов следует гибель — «во всяком положении»: хоть под «многопенным валом» Интернационала, хоть у «ирландских скал».

Новейшие архивные разыскания показывают, что, когда друзья хотели отправить больного поэта к ирландским (точнее к финским) скалам, чтобы облегчить его участь, главный «скифский» вождь не пустил: «Он будет писать стихи против нас». Но постановил: выдать вспомоществование в размере двух полных пайков. Пайки не понадобились. Не помогли и лекарства: умирающий от них отказался. Дуэт со стихией подошел к финалу.

Когда задаешь вопросы сфинксу, то и сфинкс может задать вопрос. Ответа нет — со скалы в пустоту.

Это метафора, конечно. Александр Блок умер 7 августа 1921 года в своей постели, в своем кабинете, на улице Декабристов (она же Офицерская), в городе Петрограде, который еще не стал Ленинградом.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	5
---------------------	---

СЕРЕБРО И ЧЕРНЬ

Поколение, «умытое кровью»	8
Александр Блок: «Россия — сфинкс»	10
Николай Клюев: «Мы любим только то, чему названья нет»	27
Велимир Хлебников: «Мой белый божественный мозг я отдал, Россия, тебе»	42
Николай Гумилев: «Русь бредит Богом»	56
Игорь Северянин: «Моя ползучая Россия — крылатая моя страна»	69
Владислав Ходасевич: «Так нежно ненавижу и так язвительно люблю»	85
Осип Мандельштам: «...Но люблю мою бедную землю...»	100
Борис Пастернак: «Я весь мир заставил плакать над красой земли моей»	113
Анна Ахматова: «...В Россию пришла ниоткуда»	128
Марина Цветаева: «Мы коронованы... одну с тобой мы землю топчем...»	143
Владимир Маяковский: «Я не твой, снеговая уродина!»	163
Сергей Есенин: «Я знаю, ты умереть готова, но смерть твоя будет жива»	179

МЕДНЫЕ ТРУБЫ

Поколение «счастливых»	196
Эдуард Багрицкий: «...И труба пропела»	197
Николай Тихонов: «Нет России, Европы и нет меня»	217
Павел Антокольский: «Небыль сама превращается в быль»	229
Илья Сельвинский: «Этот стих... как стакан океана»	246
Александр Прокофьев: «Кумачовая рубаха вперемешку с пестря- динной»	263
Алексей Сурков: «В нарезном стволе»	278
Михаил Исаковский: «Болото. Лес. Речные камыши. Деревья. Трактор. Радио. Динамо»	291
Анна Баркова: «Кровавые звезды на смирившихся башнях»	309
Владимир Луговской: «Волна громбовой меди над пустыней»	328
Михаил Светлов: «Приговор прозвучал, мандолина поет, и труба, как палач, наклонилась над ней»	347
Николай Заболоцкий: «Я сам изнемогал от счастья бытия»	362
Леонид Мартынов: «Непостижимо для ума на свете многое весьма»	379

Аннинский Л.

А 68 Красный век: Серебро и чернь. Медные трубы. — М.: Молодая гвардия, 2004. — 397[3] с.: ил.

ISBN 5-235-02586-5

Между убийством царя-Освободителя и Ходынкой рождается поколение, которому суждено быть участником крушения старой России и зарождения новой. Это поколение выдвинуло плеяду великих поэтов. Среди них А. Блок, Н. Клюев, Н. Гумилев, А. Ахматова, М. Цветаева, В. Маяковский, С. Есенин... Следующее поколение — родившееся между Ходынкой и Цусимой, — было «конфирмовано» Октябрем и дало классиков советской поэзии. Среди них Э. Багрицкий, Н. Тихонов, М. Исаковский, Н. Заболоцкий, Л. Мартынов...

В своей книге Лев Аннинский исследует психологические ситуации, обусловившие взлет поэзии в трагический для России Красный век.

**УДК 82-95
ББК 83.3(2Рос=Рус)6**

Аннинский Лев Александрович
КРАСНЫЙ ВЕК
Серебро и чернь
Медные трубы

Главный редактор **А. В. Петров**

Редактор **Т. Е. Ширма**

Художественный редактор **К. Г. Фадин**

Технический редактор **В. В. Пилкова**

Корректоры **Т. В. Павлова, Л. М. Марченко**

Лицензия ЛР № 040224 от 02.06.97 г.

Сдано в набор 06.02.2004. Подписано в печать 17.05.2004. Формат 84x108/32.
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Таймс». Усл.-печ. л.
21,0. Тираж 5000 экз. Заказ 34747.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127994, Москва,
Сущевская ул., 21. Internet: <http://mg.gvardiya.ru>. E-mail: dsel@gvardiya.ru

Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии: 127994, Москва,
Сущевская ул., 21.

ISBN 5-235-02586-5